



Б. АХМАДУЛИНА

Из эссе «Робкий путь к Набокову»*

<...> И вот, осмысленным приступом одной целой ночи, я, без черновика и второго экземпляра, написала письмо Набокову и поздним утром опустила его в почтовый ящик¹, дивясь простоте этого жеста. Теперь оно незначительно принадлежит архивам Набокова и, вскоре продиктованное по памяти, — коллекции Ренэ Герра.

Нынешней глубокой ночью, двадцать лет спустя, я могу лишь приблизительно точно восстановить отправленный из Парижа текст, точнее, конспект его, но смысл послания жив и свеж во мне, усиленный и удостоверенный истекшим временем. Эта ночь оказалась много трудней и короче той.

Дневная репродукция вкратце такова. Я писала Набокову, что несмелая весть затеяна вдалеке и давно, но всегда действовала в содержании моей жизни. Что меня не страшила, а искушала возможность перлюстрации: де, пусть некто знает, что все подлежит их рассмотрению, но не все — усмотрению, но в этом случае письмо разминулось бы с получателем или поставило бы его в затруднительное положение иносказательного ответа или не-ответа. Что я прихожусь ему таким читателем, как описано в «Других берегах» кружение лепестка, черешни, точно-впад съединяющегося с отражением лепестка в темной воде канала, настигающего свою двуединую цельность. И совсем не одна я не слабоумно живу в России, которую ему не удалось покинуть: почитателей у него больше, чем лепестков у черешни, воды у канала, но все же он величественно вернется на родину не вымышленным Никербокером, а Набоковым во всей красе. (Мне доводилось в воду смотреть:

* Фрагмент эссе, вошедшего в книгу Б. Ахмадулиной «Миг бытия» (М., 1997).

когда-то давно я ответила директору издательства на упреки в моем пристрастии к Бродскому, мешающему, вместе с другими ошибками, изданию моей книги: «О чём вы хлопочете? Бродский получит Нобелевскую премию², этого мне достанет для успеха.») Я подробно описывала, как я, Борис Мессерер и его кузен Азарик Плисецкий³ пришли в дом Набоковых на Большой Морской в Петербурге, тогда — на улице Герцена в Ленинграде. Злобная бабка — таких сподручно братья в понятые — проградила нам путь. Я не обратила на неё внимания. За препятствием бабки, внизу, некогда жил припеваючи швейцар Устин — но и меха⁷ подаваючи, и двери открываючи, что было скучнее господских благодеяний. Это он услужливо преподнес восторжествовавшим грабителям открыто потаенную шкатулку, чьим волшебно переливчатым содержимым тешила молодая мать Набокова хворобы маленького сына. В новой, посмертной для Устина, но не иссякающей жизни, повышенный в звании, он вполне может служить синекуре посольской охраны. Сейчас внизу несло сильным запахом плохой еды. Витраж, судя по надписи в углу, собранный рижским мастером, кротко мерцаал, как и в былые дни, но причинял печаль. Я говорила, что вон там стояла мраморная безрукая Венера, а под ней — малахитовая ваза для визитных карточек. Бабка, всполошившись, побежала за начальником ничтожного учреждения. Вышел от всего уставший начальник. За эти слова, в немыслимом, невозможном будущем, похвалил меня Набоков. Потом я узна⁹ю, что сестра его Елена Владимировна прежде нас посетила этот дом, но бабка ее не пустила: «Куда идете, нельзя!» — «Я жила в этом доме...» — «В какой комнате?» — «Во всех...» — «Идите-ка отсюда, не морочьте голову!» Уставший от всего начальник устало оглядел нас: «Чего вы хотите?» — «Позвольте оглядеть дом. Мы — безвредные люди». И он позволил. Дом был изувечен, измучен, нарушен, но не убит, и, казалось, тоже узнал нас и осенил признательной взаимностью. К тому времени сохранились столовая, отделанная дубом, где и обитал уставший начальник, имевший столовую в бывшем Устиновом жилище, на втором этаже — комната с эркером, где родился Набоков.

Письмо вспоминается ощупи более объемистым, чем уму, думаю, в нем содержались и другие доказательства того, что лепесток настиг свое отражение и с ним неразлучен.

Разговаривая с Машей⁴ по телефону о возможной поездке в Швейцарию, я не думала о Монтрё: Набоков был повсеместен, моя подпись под письмом это заверяла, мне полегчало.

<...> В Женеву отправилась с нами и Наталия Ивановна⁵. На перроне нас встречала Маша с друзьями. Завидев их, Наталия

Ивановна встрепенулась: «Это не опасно для вас? Вы хорошо знаете этих людей?» Я радостно утвердила: «О да!» Устроились в гостинице, заказали ужин. Вдруг Борис спросил Машу: «Монтрё — далеко отсюда?» Маша ответила: «Это близко. Но еще есть и телефон». Я испугалась до бледности, но Маша, поощряемая Борисом, сразу позвонила Елене Владимировне Набоковой (в замужестве Сикорской). Та откликнулась близким обнимающим голосом: «Брат получил Ваше письмо и ответил Вам. Он будет рад Вас видеть. Сейчас я съединю Вас с ним». Мы не знали, что в наше отсутствие консьержка Марининого дома⁶ взяла из рук почтальона автограф Набокова, хранимый нами. Бывало, прятали его от каких-нибудь устинов, но они, открытым способом, не пожаловали. Телефон сработал мгновенно и невероятно, но я успела расплакаться, как плакса. Я не посягала видеть Набокова. Трижды терпела я бедствие обожания: при встрече с Пастернаком, с Ахматовой, и вот теперь, с небывалой силой. ГОЛОС — вступил в слух, заполнил соседние с ним области, не оставив им ничего лишнего другого: «Вам будет ли удобно и угодно посетить нас завтра в четыре часа пополудни?» Замаранная слезами, я бесслезно ответила: «Да, благодарю Вас. Мы всенепременно будем». <...

...Без пяти минут четыре мы с Машей, запыхавшись, присоединились к спутникам при входе в отель. Услужающий почитательно предупредил, что нас ожидают наверху, в «Зеленом холле». Поднялись Маша, Борис и я.

«Зеленый холл» был зелен. Перед тем как, с боязливым затруднением, вернувшись в него сейчас, ноябрьской московской ночью, я, на пред-предыдущей странице, прилежно зачеркнула пустозначные эпитеты, отнесенные к Голосу, услышанному в телефоне, и не нашла других. Этот Голос пригласил Машу остаться: «Вы не хотите побывать вместе с нами? Я не смогу долго беседовать: неловко признаваться, но я все хворал и теперь не совсем здоров». Благородная Маша отказалась, ничего не взяв себе из целиком оставленного нам события. Был почат март 1977 года. Правдивая оговорка имела, наверное, и другой, робко защитительный, смысл: званые пришельцы, хоть и умеющие писать складно-бессвязные письма, все же явились из новгородной, терзающей, неведомой стороны. Пожалуй, наши вид и повадка опровергали ее предполагаемые новые правила, могли разочаровывать или обнадеживать. Сначала я различала только сплошную зелень, оцепенев на ее дне подводным тритоном.

Прелестная, хрупкая, исполненная остро грациозной и ревнивой женственности, Вера Евсеевна⁷ распорядилась приоткрыть цветы и опустить прозрачные зеленые шторы. Стало еще зеленее.

Голос осведомился: «Что вы желаете выпить?» Подали джинтоник, и спасибо ему.

Меня поразило лицо Набокова, столь не похожее на все знаменитые фотографии и описания. В продолжение беседы, далеко вышедшей за пределы обещанного срока, Лицо нисколько не имело оборонительной надменности, запрета вольничать, видя, что такой угрозы никак не может быть.

Я выговорила: «Владимир Владимирович, поверьте, я не хотела видеть Вас». Он мягко и ласково усмехнулся — ведь и он не искал этой встречи, это моя судьба сильно играла мной на шахматной доске Лужина. Осмелев, я искренне и печально призналась: «Вдобавок ко всему, Вы ненаглядно хороши собой». Опять милостиво, смущенно улыбнувшись, он ответил: «Вот если бы лет двадцать назад, или даже десять...» Я сказала: «Когда я писала Вам, я не имела самолюбивых художественных намерений, просто я хотела оповестить Вас о том, что Вы влиятельно обите в России, то ли еще будет — вопреки всему». Набоков возразил: «Вам не удалось отсутствие художественных намерений. Особенно: этот, от всего уставший начальник». Я бы не удивилась, если бы впоследствии Набоков или Вера Евсеевна мельком вернулись к этой встрече, исправив щедрую ошибку великолепной поблажки, отступление от устоев отдельности, недоступности, но было — так, как говорю, непоправимым грехом сочла бы я малое прегрешение перед Набоковым. Он доверчиво спросил: «А в библиотеке — можно взять мои книги?» Горек и безвыходен был наш ответ. Вера Евсеевна застенчиво продолжила: «Американцы говорили, что забрасывали Володины книги на родину — через Аляску». Набоков снова улыбнулся: «Вот и читают их там белые медведи». Он спросил: «Вы вправду находите мой русский язык хорошим?» Я: «Лучше не бывает». Он: «А я думал, что это замороженная земляника». Вера Евсеевна иронически вмешалась: «Сейчас она заплачет». Я твердо супротивно отозвалась: «Я не заплчу».

Набоков много и вопросительно говорил о русской эмигрантской литературе, очень хвалил Сашу Соколова. Его отзыв был уже известен мне по обложке «Школы для дураков», я снова с ним восторженно согласилась. Когда недавно Саша Соколов получал в Москве Пушкинскую премию Германии⁸, я взволновалась, подтвердив слова Набокова, которые я не только читала, но и слышала от него самого. Он задумчиво остановился на фразе из романа Владимира Максимова⁹, одобрав ее музыкальность: «Еще не вечер», что она означает? Потом, в Москве, всезнающий Семен Израилевич Липкин¹⁰ удивился: неужели Набоков мог быть озадачен библейской фразой? В Тенишевском училище ненавязчиво

преподавали Закон Божий, но, вероятно, имелись в виду слова не из Священного Писания, а из романа. Перед прощанием я объяснила, что они не сознательно грубо быгуют в просторечии, например: я вижу, что гостеприимный хозяин утомлен еще не прошедшим недугом, но не захочу уходить, как недуг, и кощунственно промолвлю эти слова, что, разумеется, невозможно.

Я пристально любовалась лицом Набокова, и впрямь, ненаглядно красивым, несдержанно и открыто добрым, очевидно посвященным мести земли, из которого мы небывало свалились. Но и он пристально смотрел на нас: неужто вживе есть Россия, где он влиятельно обитает, и кто-то явно уцелел в ней для исполнения этого влияния?

Незадолго до ухода я спросила: «Владимир Владимирович, Вы не охладели к Америке, не разлюбили ее?» Он горячо уверил нас: «О нет, нимало, напротив. Просто здесь — спокойнее, уединенней. Почему вы спросили?» — «У нас есть тщательно оформленное приглашение Калифорнийского университета UCLA (Ю СИ ЭЛ ЭЙ), но нет и, наверное, не будет советского разрешения». С неимоверной живостью современной отечественной интонации он испуганно осведомился: «Что они вам за это сделают?» — «Да навряд ли что-нибудь слишком новое и ужасное». Набоков внимательно, даже торжественно, произнес: «Благословляю вас лететь в Америку». Мы, склонив головы, крепко усвоили это благословение.

Вот что еще говорит память утренней ночи. Набоков сожалел, что его английские сочинения закрыты для нас, полагался на будущие переводы. Да, его самородный, невиданный-неслыханный язык не по уму и всеведущим словарям, но впору влюбленному проницательному предчувствию. Он сказал также, что в жару болезни сочинил роман по-английски: «Осталось положить его на бумагу». Откровенно печалился, что его не посетил очень ожидаемый Солженицын: «Наверное, я кажусь ему слишком словесным, беспечно аполитичным?» — мы утешительно искали другую причину. Вера Евсеевна с грустью призналась, что ее муж болезненно ощущает не изъявленную впрямую неприязнь Надежды Яковлевны Мандельштам. Я опровергала это с пылким преувеличением, соразмерно которому, в дальнейшем, Н. Я. круто переменила свои чувства — конечно, по собственному усмотрению, но мы потакали. (Надежда Яковлевна зорко прислушивалась к Борису, со мной любила смеяться, шаля остро-язычием: я внимала и подыгрывала, но без вялости.)

Еще вспомнилось: Владимир Владимирович, как бы извиняясь перед нами, обмолвился, что никогда не бывал в Москве, — но имя и образ его волновали. Меня задело и растрогало,

что ему, по его словам, мечталось побывать в Грузии (Борису кажется: вообще на Кавказе): там, по его подсчетам, должна водиться Бабочка, которую он нигде ни разу не встречал. (Встречала ли я? Водится ли теперь?)

Внезапно — для обомлевших нас, выдыхом пожизненной тайны легких, Набоков беззащитно, почти искательно (или мы так услышали) проговорил: «Может быть... мне не следовало уезжать из России? Или — следовало вернуться?» Я ужаснулась: «Что Вы говорите?! Никто никогда бы не прочитал Ваших книг, потому что — Вы бы их не написали».

Мы простились — словно вплавь выбирайсь из обволакивающей и разъединяющей путаницы туманно-зеленых колеблющихся струений.

После непредвиденно долгого ожидания наши сподвижники встретили нас внизу с молчаливым уважительным состраданием. <...>

В Женеве мы еще раз увидели Елену Владимировну. Она радостно сообщила, что говорила с братом по телефону и услышала удовлетворительный отзыв о нашем визите <...>.

В конце прошлого года Борис и я оказались в Женеве — участниками равну глубокомысленного и бессмысленного конгресса. Азарик Плисецкий, с которым навещали мы дом Набокова, работает в Швейцарии у Мориса Бежара¹¹. Мы увидели замечательную, тревожащую балетную постановку «Короля Лира»¹². Пугающие одинокий, поверженный, безутешный старый Король и был сам Бежар. (То-то бы осерчал Толстой¹³.)

Вместе с Азариком, в его машине, медленно пронеслись мы мимо Лозанны, мимо Веве, <...>.

Поднялись на кладбище Монтрё и долго недвижно стояли возле мраморных могильных плит Владимира Владимировича и Веры Евсеевны Набоковых.

Внизу, ярко, по-зимнему серьезно, мерцало Женевское озеро, цветные автомобили мчались во Францию, в Италию, в Германию — кто куда хочет. Справа, в невидимой прибрежной губине, помещался замок «Шильонского узника». Пространная лучезарная округа, ограниченная уже заснеженными горами, отрицала свою тайную связь с Петербургом, станцией «Сиверская», с Вырой, Рождественом, солнце уходило в обратную им сторону.

Наверное, нет лучшего места для упокоения, чем это утешное, торжественное, неоспоримое кладбище. Но нам, остро сведенным тесным сиротским братством, невольно и несправедливо подумалось: «Почему? За что?»

На обратном пути мы помедлили возле отеля «Монтрё-Палас». Праздничная чуждая сутолока не иссякала: швейцары и грумы распахивали дверцы лимузинов, отводили их на место, уносили багаж, на мгновение открывали зонты над нарядными посетителями, дамы, ступая на ковер, придерживали шляпы и шлейфы. Нам отель показался необитаемо пустынным, громоздко ненужным.

Тогда, в 1977 году, наше путешествие вызвало нескончаемые расспросы, толки и пересуды. Все наши впечатления преувеличила и на долгое время остановила весть о смерти Владимира Владимировича Набокова, настигшая и постигшая нас вскоре после возвращения. Пределы этой разрушительной вести и сейчас трудно преступить.

Дом на Большой Морской давно опекаем, жива спасенная Выра, книги Набокова можно взять на прилавке и в библиотеке, но, напоследок согбенно склоняясь над многодневными и многонощными страницами, я помышляю о чем-то большем и высшем, имеющем быть и длиться. Так или иначе, все это соотнесено с названием вольного изложения значительной части моей жизни.

1996

КОММЕНТАРИИ

¹ Точная дата отправления письма не указана. С декабря 1976 г. по март 1977 г. Б. Ахмадулина жила в Париже; в марте 1977 г. по ответному (телефонному) приглашению В. В. Набокова посетила его в Монтрё.

² И. А. Бродский (1936—1996) получил Нобелевскую премию в 1987 г.

³ Б. А. Месссерер (р. 1933) — живописец, график, художник-сценограф; муж Б. Ахмадулиной. А. М. Плисецкий (р. 1937) — артист балета, балетмейстер, педагог, брат М. М. Плисецкой.

⁴ Маша — швейцарская знакомая Б. Ахмадулиной.

⁵ Н. И. Столярова (1915—1984) — литератор.

⁶ Б. Ахмадулина и Б. Месссерер жили в Париже по приглашению Мариной Влади (актерский псевдоним М. В. Поляковой-Байдаровой), тогда — жены В. С. Высоцкого.

⁷ В. Е. Набокова (1902—1991) — жена В. В. Набокова.

⁸ Саша Соколов — литературный псевдоним Александра Всеволодовича Соколова (р. 1943). Его роман «Школа для дураков» был впервые издан в Америке в 1976 г., Пушкинскую премию он получил в 1996 г.

⁹ Владимир Емельянович Максимов (1932—1995) — писатель.

¹⁰ С. И. Липкин (р. 1911) — прозаик, поэт, переводчик.

¹¹ Морис Бежар (наст. фамилия — Берже; р. 1927) — французский артист балета, балетмейстер, педагог.

¹² Европейская премьера «Короля Лира» состоялась летом 1994 г. на балетном фестивале в Монпелье.

¹³ Известна крайняя неприязнь Л. Толстого к Шекспиру (в частности, к образу короля Лира), к театру как таковому и, в особенности, — к искусству балета.

